



КРАЮХА ХЛЕБА

ТЮЛЬПАНЫ

Скупая Чуйская долина
с кремнистой выжженной душой
тюльпаны щедро нам дарила,
морила вшой и анашой.
Сорняк забытых огородов
и нераспаханных полей,
тифозный жар, угар природы —
тюльпаны в памяти моей.
Во все четыре горизонта
кумач раскинул письма:
«Всё для Победы! Всё для фронта!»
Война — воистину красна...

БАЛЛАДА О КРАЮХЕ ХЛЕБА

Памяти Павла Мелехина

Как поработал надо мною тиф!
Совсем освободил меня от плоти,
но, в ангела меня не обратив,
едва не сделал дьяволом, напротив...
Мне снился хлеб,
мне снилась кукуруза,
узбекский плов,
дунганская лапша,—
я превратился в страждущее пузо,
и поросла быльём моя душа.
А за стеною, в девичьей палате
остриженный барашек с жёлтым лбом,
глаза да кости, вешалка в халате,
впечатанная в память, как в альбом...

По коридору двигался солдат...
На костылях, в обвиснувшей шинели,
глаза его, запавшие, синели:
— А ну, посторожи котомку, брат...

Он скинул вещмешок и в процедурный
ушёл на перевязку в кабинет...
Ударил запах хлеба, стало дурно,
поплыл перед глазами белый свет...

С краюхой под халатом и под мышкой,
с безумным, как и я, дурным мальчишкой,
мы вызвали соседку в коридор
и, спотыкаясь, кинулись во двор...
Мы ей признались...
И она ногами
затопала, завывала: — Ур-ка-га-ны-ы!
Проклятые фашисты!
Дураки-и-и!
Её слова разили, как плевки...

А мы катались в молодой крапиве,
мы плакали, стонали и вопили,
и уронивший костыли солдат,
пытаясь сесть, свалился рядом с нами,
легонько нас состукнул головами
и зашептал-заплакал:
— Так-то, брат...

СТРУЧКИ

Среди невыжженной ботвы,
совсем, как овцы и телята,
паслись мы в поисках жратвы —
послетифозные ребята.

Те прошлогодние стручки
бобов и сои, и фасоли
похожи были на крючки,
полуистлевшие в подзоле.

Вдруг появлялась ловкость рук,
ты был по-зверски чутким, зорким
и слышал чмокающий звук,
скрывая слякотные створки.

Наверно, было бы умней
прожарить гнилостные зерна,
но чувство голода сильней,
оно рассудку непокорно.

Сквозь дальнорзоркие очки
при всех бананах и пельменях
я вижу ржавые стручки
и ощущаю дрожь в коленях...

БАЛЛАДА О РАНЕНОМ ДРУГЕ

Судьбой заброшенный в глубинку,
за тупиковый перегон,
носил он кепку-шестиклинку
и старый китель без погон.
Землетрясения, ураганы,
табак, урючные сады,—
здесь притяньшанские дунганы
вели бои из-за воды.
Раскинув щупальца, как краб,
здесь воеводой был мераб.

На горизонте были горы,
рвалась в долину речка Чу,
но жизнь без фауны и флоры
была мальчишке по плечу.
Его работой был базар,
его пристанищем — мазар.

Он жил, не ведая обиды,
среди обугленных полей,
и вдруг, как с неба, инвалиды
из тыловых госпиталей...
Гармошки, драки, костыли
его в смятенье привели.

И он, четырнадцатилетний,
как будто смертно виноват,
кусок ворованный, последний
стал сберегать для тех солдат.
Случилось так, что на вокзале
с поличным сцапали его,
но наказать не наказали —
определили в ФЗО.

И он смирился — раз уж влип,
прими режим и тяжкий «Дип».

Точил болванки для снарядов,
не поднимая головы,
и ждал единственной награды,
ждал дня Победы, но, увы...
Легко считать чужие беды:
«Ушастый шкет, кишка тонка,
но — дотянулся до Победы
от фээушного станка!»
...Жизнь бьёт таких наверняка —
мой друг сгорел от сыпняка.

СТАРИК

В сторожке из серых нетёсаных досок,
где ночью и днями табачный туман,
тихонько работает старый философ —
философ, от горя сошедший с ума.
По виду обычный — смущённый и добрый—
он летом пришёл и прижился в детдоме.

Густеющий клей и весёлые стружки,
в тазу — отсыревшая за ночь лоза...
Все эти корзинки, все эти игрушки
старик в воскресенье снесёт на базар.

Он все променяет — зачем ему деньги? —
на сою и дыни, лепёшки и рис.
Он скажет рассеянно: «Кушайте, дети...»
И что-то бормочет, уставившись вниз.

Он звал нас уверенно Гришей и Петей.
Откуда, откуда безумному знать,
что Гриша и Петя, любимые дети,
погибли на фронте два года назад...

Философ, которому твёрдою почвой
полвека служили запасы ума,
не мог и придумать тот день, когда почта
вручит ему два похоронных письма.

И он побредёт городским тротуаром,
шатаясь и плача, и бормоча,—
пустынный и праздный, как пепел пожара,
как храм, что оставлен навек без ключа...

Без гроба, в простую простынку завернут,
мальчишка, мой друг и философа «сын»,

землю, оттаявшей в сорок четвёртом,
засыпан... И все это было, как сон...

Цветущий урюк и шиповника зелень,
и глупой кукушки бессмысленный счёт,
и гневный старик, укоряющий землю,
и небо, и солнце, и что-то ещё...

Потом он бродил по казахским аулам,
меняя игрушки на хлеб и ночлег,
и где-то в Тянь-Шане, южнее Джамбула,
сожжённый страданием, растаял, как снег...

САПОГИ

Памяти Степана Климова

Выходя из окружения
с командиром на руках,
принимал солдат решения,
в сапоги упрявлял страх.
То он шёл лесными тропами,
то на брюхе полз, как мог,
между вражьими окопами
пробирался без сапог.

В полевой доставив госпиталь
командира своего,
помянул словечком Господа,
будто веровал в него.
А когда свою дивизию
отыскал, полуживой,
навели ему ревизию:
— Драпанул с передовой?!

Он страдал косноязычием:
— Осрамился... Виноват...
По закону, по обычаю
упекли его в штрафбат...
...По планете, словно по полю,

сохраняя зелена,
сапоги его протоптали
до сегодняшнего дня!..

ГЕРОЙ

Слава вечная герою
сорока земных колен,
он вчера разрушил Трюю,
а сегодня Карфаген.

И опять пастух и пахарь —
кто останется живой —
поднимают жизнь из праха,
а в семье растёт Герой...

ЖАЖДА

Мы с детства ждём и жаждем чуда,
нам вечно кажется: вот-вот —
откуда? Может, ниоткуда? —
оно возникнет и придёт.

Какие сны, мечты и грёзы
в нас пробуждает мир чудес!
Щенки, косички, Дед Морозы,
разливы рек, рыбалки, грозы,
весенний луг и летний лес...

Объятья женщин, деньги, слава —
нам всё в охотку, в жилу, в масть!
Расчёт и хватка волкодава
/не то — бутылка и канава/
И, наконец, вершина — власть!

Но жажда чуда не проходит
и до конца стучит в висок:
— Пожить! Пожить! Ещё бы годик,
ещё денёк, ещё часок...